



НЕУГОМОННЫЙ

Василий Васильевич Киялков родился в 1960 году в Кирове. После окончания Московского политехникума работал электриком. Служил в армии, работал фельдшером, начальником отдела Спецсвязи, в Росгвардии. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Публиковался в журналах «Литературная учёба», «Наши современники», «Молодая гвардия», «День и Ночь», «Гостинный Дворец», «Подъём», «Юность», «Немига литературная» (Беларусь), «Простор» (Казахстан) и др., в газетах «Литературная газета», «День литературы». Лауреат Всероссийских литературных премий «Традиция» (1996), имени Б.Н. Полевого (1996), «Умное сердце» (2010), «Дойче Велле» (Берлин), журнала «Наши современники» (2020), «Югра» (2020), имени Н.С. Лескова (2021), имени В.Т. Станцева (2021), Всероссийского поэтического конкурса имени С. Есенина Союза писателей России (2022). Член Союза писателей России. Живёт в городе Электросталь Московской области.

— Степанида, подавай на стол!

— Поспеешь, не помрёшь, — отрезала Степанида. — Поросянок визжит, прежде его покормлю.

За дверью, в сенцах, месячный поросёнок-молочник заходился визгом.

Грубо навалившись локтями на стол, старик задумался о работе, о кузнице. Времена пришли поганые, такие поганые, что на излёте жизни пришлось вспомнить забытое ремесло, на исходе жизни и сил открыть кустарную кузню, вспоминать навык работы с отцом-покойником... Отыскал он в бане, наверху за навесом, закинутый и забытый мех, отыскал молотки. Вот помощника бы ещё, какой она, баба, помощник... Он покоился на жену: «Вона, пожрать и то не дождёшься...»

Глаза его, мутно-серые, слезятся. Руки страшны иссиня-чёрными буграми вен с припухшими ревматическими суставами.

— Скоро? — вновь спросил Данила.

Привычно работая ухватом в печи, бабка Степанида, потная, суровая, с подтыками длинной юбки у пояса, не удержалась, завелась:

— Ай горит? Да провались она в тартарары, твоя кузня. Она нам не кормилица.

Каких только слов не наслушался Данила от жены за долгую совместную жизнь, но то, что он услышал в эту минуту, — резануло по сердцу бритвой:

— Не кор-ми-ли-ца? Ишь, что сбыхала, чёртова баба!

Степанида и бровью не поведла: выпрямилась, одёрнула подол синей ситцевой юбки, зло и раздельно выпалила:

— Истинно так. Работаем от зари до зари, а куска хлеба в доме нет!

— Кругом сыр-бор, всю Русь-матушку растащили, а ей только чрево набить. Хлеб-то нам не довели из Центральной с элеватора, — да может быть, он, хлеб-то, прямо в войско, в Чечню и пошёл, нашим детишкам увезли. Их ведь там, небось, трое. Надо обуть-одеть. Прокормить. А?

— На! — Степанида стукнула на стол большую разлатую глиняную тарелку «толчка», мятой картошки. — Ешь, пока не поси-неешь! Ты бы не пускал детей на войну, ай им там место? Робыли бы во дворе, косили цветошник бы да сенца засушили, сажали бы картошку... Прожили бы.

«Бессолая, как трава», — мысленно говорил себе Данила, перекосив губы и обжигаясь. Не обращая внимания на еду, он невольно стал думать о Чечне, о сыновьях — Ваньке и Петьке, ушедшем по контракту. Голодно, поди, им там. Но больше всего терзался кузнец воспоминаниями о дочке Маше. Помнилось ему: работает он в слесарке, в хорошие времена, на станке. Станок токарно-винторезный визжит резцом, гонит стружку, которая из серебристой становится чёрной на глазах, остывая. Вдруг крикнут ему, тронут за плечо. Он снимет очки — и вот она, Машутка, тут и есть — пришла с обедом. Суп в горшке, каша с маслом в большой железной миске, как и сам он носил отцу в далёкие прифронтовые времена. Подойдёт, бывало, поцелует в небритое лицо и пропёт... Ишь, то-то уж и сорока-девка, ласковая, а стрекотала: сядет и всё щебечет, всё щебечет. Всё расскажет, век слушал бы её. Вспомнил, и душа обмякла, лицо расплылось в улыбке.

— Почто ощерился-то? Или деревянный рубль увидал под столом? — сострила Степанида.

Данила пропустил эти слова мимо ушей: он в этот миг слышал голосок любимой дочери.

Степанида, открыв дверь в сени, остановилась у корыта рядом с чавкающим поросёнком. Розовый луч дневного солнца из-под обрешетника крыши вытянулся во все сенцы, дальше в

избу, лёг пятном на худые рёбра поросёнка. Запустив морду до глаз в долблёное корыто, молочник цедил жижу сквозь зубы, ловил картошку на дне. Вдруг приподнял рыло, посмотрел прямо перед собой и ковырнул пятакор корыто. Помои выплеснулись на босые ноги Степаниды.

Данила зло посмотрел в сени, бросил ложку на стол:

— Глупая скотина. Опрокинул корыто и собирает с пола. Ца, зараза, ца!

Старуха поддала ухватом поросёнка. Тот, взвизгнув, отскочил как мяч.

— Наелся ай нет? — спросила она мужа.

— Наисся тут с вами, — буркнул Данила. — Свинья да баба, дурей, видно, ничего Бог и придумать не мог.

— Сам-то хорош, — обиделась Степанида. — Ишь, брови-то повесил, ровно кот на сметану.

Данила, тяжело вздохнув, вылез из-за стола, снял с полатей картуз и, глухо хлопнув им по привычке о ладонь, надел козырьком назад, окликнул:

— Пошли, в кузню пора.

Сложив багровые губы, с тяжкой думой, шмыгает Степанида. Ноги, мосластые, кривые, с синими вздутыми венами на икрах, с подагрическими шишками. Насквозь прорезанные и обрезанные чуни. Тяжёлый ход то в горку, то под гору.

— Ить вот, лаисся ты на меня, а помру — небось, выть будешь? — хитро прищурившись, спрашивает Данила.

Старуха отмахивается:

— По ком плакать-то, кожа да кости. На чём душа держится, хоть сейчас ополосни, да и в гроб. В могилу и то краше кладут, одна неутомность осталась.

Иногда она и впрямь силилась представить себе жизнь без супруга, но так ничего и не видела. Данила казался вечным, и если кому и уходить, то ей, и это было ясно, как божий день.

Новая «Нива» председателя пропылила между палисадником и ремонтными мастерскими, от которых остались одни развалины. Старуха решительно направилась к нему.

— Ты старика-то моего в гроб, что ли, загнать хочешь, нехристь! Он еле ноги таскает, видишь ты, а ты с кузней затеял — и в сторону. У него работы прорва, а деньги-то кой-какие положил, да и тех не видим.

— Дадим, дадим, бабка, не деньгами — так вот отсеемся, пшеницей, натурой отдам. Время — сами знаете, хуже войны, загнали село, запарили: бензин, корма, электричество — всё в гору. Хлеб — по закупке всё дешевле, а спекулянты, гля... Нарочно валят, под корень секут. Нынче в договор вошёл: никак не меньше, чем семь тысяч за тонну. Не сдержим слово — конец нам...

— В газетах-то что печатают, скоро кончится бардак-то? А Чечня... Угомонились там они или нет?

— Не скоро ещё, отец, угомонятся, — отвечал председатель,

переменяя слова с одышкой, со вздохами крупного своего тела, и уводя разговор в сторону от насущных проблем: — Кавказ, дед, Кавказ. Так вот и эти бандиты там, в Ичкерии, взрывают фугасы, горло режут солдатикам...

— И нужна нам она, эта самая Ичкерия? Пропади там всё пропадом, выйти оттуда и забыть. Ай своей земли мало? Своей-то не обиходим, бросили совсем. Поля берёзками заросли, даже и змея, даже и уж не проползёт. А и та, что осталась у них, на Кавказе, — гориста, хлебушек не родит.

— Там нефть, батя. Чёрное золото. Джихад. Он весь мир завоевать хочет, — кратко и просто пояснил председатель.

— Ну-у? — удивился Данила. — Такая козявочка — весь мир?

— У них — вера, батя, а у нас?

И Даниле представилось большое поле, ровное и сплошь в хлебах. Бородатый наёмник в образе и подобии плакатного врага времён Второй мировой войны: руки засучены по локоть, сам с автоматом и фугасом через плечо, на лбу зелёный платок-повязка, как, бывало, видел он в новостях по телевизору.

Тракторист-частник промчался напрямую по колеям, спяну заснув за рулём и мотая от тряской дороги головой, как мёртвый. Председатель кинулся ему наперерез, стал кричать и махать руками. Данила двинулся вперёд. Степанида не отстаёт. Село вытянулось в два порядка.

Молодая зелень блестит на солнце, но не радуется глаз. По селу — разруха, как от бомбёжки. Молодые уехали на заработки в города или по вербовке, детей кинули на родителей, на бабок.

— Что с них выйдет, а, старуха?

— Из кого?

— Да вот из детишек-то... Сироты при живых родителях...

Увидев кузнеца, ребятишки бежали издалека, позабавиться. Один кинулся вприсядку, выпевал, весь чумазый:

*Ой, Данила, дед Данила,
Тебя бабка заморила!*

— Брысь, безотцовщина, зау-глы окаянные, ай он вам ровесник? — вскинулась Степанида.

Данила со смехом понужал:

— Этак, этак, вот молодец, а дальше? Заморила, заморила, её грех...

*Ку-знец, молодец,
Вся моя отрада!*

От дороги вдоль выгона, чуть влево и вперёд, — и вот она — тут и есть, кузня-кормилица, присела у глубокого оврага. Серо-седая, как старая и добрая мать. С покосившимся одним-единственным окном. А вокруг: старые розвальни, ломаные плуги, рессоры, динамо от трактора — всё ржавое, гнилое, в земле и зеленью заросшее, с бурьяном вперемешку.

— ...Ждут, — говорит Данила, подходя к кузне, — всё ждёт хозяина...

На крыльце кузни сидели-распивали трое мужиков — один

другого угрюмой, все в обновлениях. Воняло кислым, давно не мытым.

— Посмотрю я на вас, мужики, ровно через молотилку пропущены: излом да вывих. В город на заработки и то не годитесь, сеете плохо, с плугов да телег все гайки порастеряли. Ребятишек-то, поди, и тех — не можете, а? Или недосуг, не до ребятишек? Бабы-то ваши все телевизор смотрят?

— Не выключают. Им не до нас, а нам не до них.

— А нам ещё и лучше... Нам — пускай смотрят. А работать — какая работа с похмелья. С утра выпил, день свободен...

— Работа — она не кой-там чего, постоять может.

Данила щёлкает выключателем, отворяет настежь дверь кузницы, командует с озорством:

— Стешка, дуй!

Степанида, набросав лучинок, зажигает охотничьим серником грудку древесного угля, налегая на ручку, на меха, раздувая фиолетовое пламя, тоже балагурит в тон мужу:

— Данила, куй!

Пыль кипит-волнуется в узких лучах солнца. Застоявшийся запах пара, гари, древесного угля возбуждал в душе кузнеца необъяснимое чувство радости, гордости: что надо быть человеком, оставаться человеком до конца. И пока Степанида раздувает пламя горна, греет он, укладывает заготовки. Данила

готовил инструмент основательно — осматривал молоток, наковальню.

Всё заботило Данилу в кузнице: и покосившееся окно, и подносившаяся наковальня, и худая крыша. Берёт клещи — думает: «Ивановы». Смотрит на зубило: «Петька подарил». Приедут сыновья — можно и на покой уходить.

Бывало, возьмутся сыновья за заготовку и так горячо, рьяно жарят по ней кувалдой. Данила, сдерживая гнев, учил:

— Бей тонко, с отяжкой, пяткой. Чувствуй силу удара — от этого и прочность поковки.

А если закурят, так загремит:

— Два дела делаешь? Или курить, или работать! Только запрети мне изделие!

— Чо ты, батя, кипятишься? На твой век железок хватит. Ну испортим, так и что ж?

— Хватит? Сколько людей потело над рудой, железо из неё выводили! Эх, Пётр, Пётр... — сокрушался Данила.

Теперь Пётр награждён медалью «За отвагу», вырезку прислал из газеты. И фотография в разворот. Кузнец стоял у наковальни, вспоминал о детях, мысленно ругал себя за грубость. «Может, уж нет в живых Петра-то, — с горечью думалось. — Иван и Машутка пишут, а Пётр как в воду канул...»

Кузнец засуетился, схватил клещами заготовку, налитую соломенным блеском, и ну жарить по

ней молотком. Золотая окалина порхает, жжёт фартук. Изредка остановится, шоркнет рукавом по потному лбу — и снова за работу.

— Не спеши. Отдохни чуток, — говорит ему Степанида, — пошто торопишься, успеешь...

Проковав все заготовки, Данила кладёт на наковальню клещи и садится рядышком с женой. Степанида, раскинув юбки, сидит, широко расставив ноги в рваных калошах, смотрит на разбитые сапоги Данилы и думает: «Чем кормить старика в обед? Пшёнка да мука. Да вот ещё — картошка. Утром картошку не ел...»

К обеду Степанида выпросила-таки у соседки маслица, разбила пяток яиц. Замесила пирог-стародум, без дрожжей, за ужин. Налила щей из молодой крапивы.

Ели молча зелёные щи, и бабка всё вздыхала, поглядывала жалостливо на Данилу. Тот ел плохо, всё откладывал ложку в сторону.

— Вздремни часок-другой, — уговаривала, убирая посуду со стола. — Весенний день долог, успеем.

— Идти надо, — отвечал Данила, хотя полежать ему хотелось: ломило поясницу, ныло сердце. — Обещал к вечеру отковать две ости.

— Успеешь. У них всё срочно... — ворчала старуха.

— Да ведь не для них ости-то, для России!

Старуха фыркнула в уголок платка.

— Нужны ей твои ости-то, России, ржавые твои железки. Совсем ты, старик, одурел от телевизора.

— Глупая ты старуха, — обиделся Данила. — Без железок ни плуга, ни бороны не изладишь. А не изладишь — насидишься без хлеба. Помнишь, ещё по молодости-то плакат висел в конторе: «Не только штык, но и колос врага колет».

— И-и, вспомнил. От нынешних-то врагов — ни колос, ни штык не спасёт, не-ет... Их ныне не видно. В атаку на них не пойдёшь, круговую занимай оборону!

Жарко, душно в избе. От горячих щей, от слабости кузнеца бросало то в холодный пот, то в жар. Он с трудом открыл окно. Ветерок потянул прохладой, освежил грудь и лицо. Ещё больше захотелось прилечь, завести глаза.

— Пора, — пересиливая боль в пояснице, торопил Данила.

И опять потянулись они вдоль развалившейся череды домов к «кормилице» кузне.

Вечером село окутал мутно-серый рыхлый туман, в кузнице стемнело. Степанида вылила остатки грязного керосина в допотопную лампу с треснувшим пузырьём: вот уж с зимы — потёмки, с заговенья бродяги снимали на металлолом алюминиевые провода. Трансформатор не гудит теперь, как бывало раньше,

издалека слышно. Насиделись без света...

— Ну, я пойду. Приготовлю ужин. И ты не задерживайся тут.

— Иди. Уберусь и приду.

— Посуду, поди-ка, опять чинить будешь бабам деревенским?

— Нынче не придут. Поздно уже.

— Ты бы хоть керосином с них брал. Или хлебом.

— Ещё чем взять посоветуешь? — сурово переспрашивал Данила. — Они вон откуда едут, из соседних сёл. Новое — купить не на что, оттого и несут в починку. Барахло. Барахло же несут, какая за барахло плата?

— А то что же даром-то? Даром и чирей не садится. Сказано: сухая ложка рот дерёт.

— Не раздерёт!

— Ну, околачивай руки-то за дарма, околачивай. Они и так у тебя, ровно у лешего.

Часто вечерами приходили женщины из окрестных сёл: кто чайник принесёт — отлетела ручка, кто кастрюлю — дно запаять, кто подойник — долой ушко. В сельмаге не укупишь, пенсию из района не дождёшься. Вот и ходили в кузницу. Данила отказать не мог, не умел. Вот и сейчас, только ушла Степанида, — словно ожидавшая её ухода, тотчас нагрянула Пелагея со сковородником. Данила уже собирался закрывать, смахивал окалину с наковальни, складывал инструмент.

— Митрофаньч, сустрой, миллай, — запела вдова. — Как без рук осталась. Горячую сковородку руками-то не возьмёшь из печи.

— Знамо, не возьмёшь. Чтобы ты пораньше-то...

— Как?

— Завтра приходи...

— На работе пласталась, бороновали.

— Придётся покупать новый. Этот — шабаш, зев выгорел...

— Мила-ай...

И Данила греет заготовку, Пелагея помогает, подкладывает уголёк. Украдкой выставляет бутылку самогона. Данила не видит бутылки. Упрямо не видит.

Истолковывая это по-своему, вдова опять поёт:

— Я тебе, Митрофаньч, утром хлебца принесу свежего, свойского, без подмеса. За твою работу...

— Не надо, у меня есть. Ты племяшей своих корми. Тюрю с молоком совастожь им — сытно. Они у тебя вон какие частушки складывают, ровно артисты.

Поздним вечером Данила закрыл кузницу, часто и нелегко дыша. Самогон хоть и замолаживал, разгонял кровь — словно возвращал юность, да припекало что-то в груди. И стакан вонючего первача натоцкал сшибал дыхание, торопил сердце, томил одышкой. Тёплый майский ветер дул порывами. Где-то брехали собаки, квакали лягушки в овраге за кузней. И в этом кваканье старику

чудилась отчаянная жизнь, как у людей беспощадная нынче война:

— Ур-род, ур-род, — дразнила одна жаба другую.

— А ты какова? — отзывалась другая. — Ква, ква...

В середине села, на брёвнах, играл кто-то на баяне. Тосковал в любовной истоме, терзал клавиши. Одиноко играл. И не подпевали ему девки, как это было прежде, как встарь, всё об одном, всё о том же.

Кузнец любил музыку, гармонь волновала сердце воспоминаниями о былом, об ушедшем. Подошёл к гармонисту, приложил к уху ладонь, гармонист кивнул. Данила глухо топнул сапогом и, снимая под лихой заигрыш с себя пиджак, скидывая его, раскрылился, сделал выход и прошёлся с притопом. Потом смело кинулся в пляску, как в омут:

Тягька кузницу сстроил,
Я кую, кую, кую...
Шестьдесят четыре пуда
Поднимаю на ...

Пел он, работая ногами, и, теряя последние силы, задыхаясь, закончил:

Ах ты, милочка моя,
Сорока белобокая,
Раньше я к тебе ходил,
Теперь — гора высокая...

...Степанида отстряпалась, в поиски пустилась. Она искала «неугомонного» долго. Ходила в

кузницу, заглядывала и в ветхий сарай на задворках, за кузницей. Даже на скотный ходила, на баз, не выдержала одиночества:

— Как провалился!

И вдруг услышала его голос и глухой крепкий топот, заголосила, завывала, подходя к зевакам, хохотавшим, глядя на деда, — завывала как по покойнику:

— Окаянный, неугомонный!

Видно было, что Данила пьян и пьян крепко. Натощак хватило ему и стакана.

— Данила, Данила! — рванула она за рубаху.

Более притворяясь пьяным, чем на самом деле спьяневший, дед нарочно потешно-комически отбивался от жены под общий смех соседей, — никак он не поддавался на её уговоры. Потом шли под руку, Данилу гнуло и клонило.

— ...До ста лет жить хочца, Стеша, — говорил он. — И вот, думал я, что хоть немолод уже, а повеселю народ, ан нет, задвохаться стал. Приходит всему предел, знать, прошло и моё времечко.

И всю ночь тяжело спал старик, с полуоткрытыми глазами, как мёртвый. Степанида вставала в ночи, не зажигая свет в светлую весеннюю ночь, спрашивала, заглядывая в бледно-синее лицо мужа:

— Сердце болит, Данилушка?

...Утром два выстрела, один за другим, взбудрили тишину деревни — ударили, эхом отозвались, догнали друг друга,

встретились и сплелись. Кольцом сошлось эхо и умерло вдали четырежды.

— Эка штука, — сказал, привставая и вслушиваясь, наваливаясь на подоконник грудью, Данила, — глянь-ка, стреляют, никак — охота.

— На кого? — насторожилась старуха.

— Вот, Бог знает, кто и есть: для уток — поздно, май уже. Да и на тетерева поздно. Уж не городские ли?

— Городские и есть, наши давно не палят, не на что баловать-ся, на хлеб не хватает.

На горизонте повис столб: густо и плотно шёл-поднимался шлейф пыли, словно гарь за подбитым самолётом, вздымалась пыль вверх, обозначая путь горбатой иномарки, — шлейф пыли заволакивал дали, медленно полз под угор. Грозный клаксон причудливым звуком оглашал окрестность. Клаксону вторила визгливая музыка. Упруго била она, эта заморская музыка, в динамики «Ленд Ровера», вытряхивалась на улицу. Глухо и непривычно трещало в сплетении звуков, рег-свинг, граунд-свинг... — кто-то брэнчал глухо на банджо, перемежая аккорды с чехардой перестуков непонятного инструмента, то ли бубна, то ли барабана — словно палкой по забору частил опытный джазмен, тёр как бы палкой по стиральной доске.

— Ух, открой, Валера, открой окно! Душа воли просит! «Вот

моя деревня, вот мой дом родной...»

— Деревня — это да, деревня твоя — красавица: «Утонула деревня в ухабинах...» А в курицу ты даже и с двух раз не попал! Шефу скажу, пусть в тираж тебя спишет: слепой ты, нет, не стрелок, не личный ты охранник.

— В тираж? Да где он такого найдёт... Я боец! Слышишь, ты... Как там тебя, водила!

Мелко семена, удирали из-под колёс куры, спешили в сады, пролезали сквозь кольца часты-кола — и металась в стороны растерянно, едва умея отыскать прогал. Чья-то собака бросилась сдуру под колёса, да вовремя отскочила.

— Эх, гляди, чудо-то!

Телёнок на длинной верёвке долго и неподвижно смотрел на машину, пережёвывая траву, и так же внезапно, потеряв интерес, отбежав на длину верёвки, дёрнул всю её так, что едва не вырвал вбитый в землю кол.

По-своему поняв намёк, пьяно ткнув локтем в бок водителя, опять захохотал, замахал в окно пистолетом личный охранник.

— Кончай шмалять, всю деревню поднял, — окоротил шофёр друга, — лучше подсказывай, как и куда.

— Рули вперёд, всё время вперёд! Давай, давай, ямки, дави на газ, Валера!

Коротко стриженный и губастый охранник — «телок», с крупной грудью, сдавленной узкими бретельками чёрной

стильной майки, с мотающейся поверх кобурой, — свистал, хохотал, подстукивал от нетерпения и топал в такт музыке. В открытое окно гнало дым сигары шофёра.

Машину в засохшей глине по колее валяло то в одну, то в другую сторону. Но колея держала каменно.

— Против колодца сверни. Пятистенок рубленый, рули под тополь. Туда, туда. Приехали.

Грудастый охранник, предвкушая радость встречи, выдавил в рот душистую конфету из цветной коробки. Рыжий водитель затормозил, выдохнул ароматическим дымом. Выщелкнул мокрый окурок сигары из окна подальше.

Подъехали бойко, качнуло от тормозов. Посидели, прикрыв окна автоматическими кнопками, пока уходила-плыла прочь пыль и опадала, обгоняя машину. И всё долбила и долбила в динамики, не переставая, сумасшедшая музыка, мягко и громко ударяя в акустические колонки, словно музыканты, примеряясь к обстоятельствам, искали свои ноты, тонкие и причудливые, чтобы удивить, изумить, ошарашить деревенских аборигенов.

Приехавшие едва слышали друг друга, общались знаками, как немые: всё трещало, жило, плыло, играло и разговаривало. Мягкие сиденья из кожи не могли погасить тройного напора звуков. Саксофон вёл партию самыми причудливыми тропами,

а банджо вторило саксофону, то догоняя, то отставая, чеканил и частил упрямый ударник.

— Ну и дичь тут у тебя, страна Муравия. Вот она где была бы — настоящая-то охота. А шеф платит бешеные бабки за стояние на номерах, ты сюда его вези, покажи заштатное житьё родной деревни. Как можно было родиться в такой глуши и не быть охотником, скажи мне, Оцеола? А ты? Не попал в курицу с двух раз, вплотную!

— Это ж тебе не ПМ, а «Ижак» — «ишачок», дерьмо, а не пистолет. Менты выдумали и вооружили ЧОПы. Четверть прицельной мощности и поражающей силы... Дерьмо, а не пистолет. Нарочно разработали и внедрили барахло, понимаешь?

— Понимаю! Плохому танцюру — всегда паркет скользкий.

Говорить было трудно: так шумно, скоро и гнусно менялся репертуар.

Дед Данила, привалясь грудью к подоконнику, пристально и близоруко долгим взором вперился в окно на подъехавшую иномарку: чудней и шикарней автомобиля он в жизни своей не видывал. Степанида испуганно растолкала створки окна и тут же, заохав, мелко и часто крепясь, села на табурет.

— Ты что, бабка? — Данила всё никак не мог понять, что же случилось. — Чего ты, старая?

— Выдь-ка, выдь да глянь, старик. Гляди, ведь это он сам и есть...

— Кто?

— Да ведь это Петя?! Это... или это Петро к нам?

И, всплеснув руками, старуха бросилась на улицу.

Старик, сдвинув брови, стал пробираться вдоль печи, отыскивая опору. В полутьме через сенцы, всё путаясь, проваливаясь руками в тёмные углы и прислушиваясь к стуку собственного сердца, сразу упавшего, затившегося и вновь ударившего в грудь сильней и твёрже, Данила выбрался на крыльцо, удивляясь своей шаткости и предательски ушедшему из-под руки дверному косяку. Тотчас и подвернувшийся молочник завизжал от пинка в бок.

— Кто это? Петя? Ты как здесь? — выкрикнул он и сам поразился слабости и осиплостью своему голосу. Так и стоял на крыльце, беззвучно разевая рот. Старуха кинулась на грудь ушедшему из машины. Сын Петро — косая сажень в плечах, чёрная майка на узких лопающихся бретельках, а по ней рисунок: белая обезьяна над штангой с изогнувшимся грифом и надпись не по-русски «Boss»...

Петя чуть прихрамывал от долгого сидения, растирал затёкшие ноги.

— Не признаешь никак, батя? А постарел... — и, не поясняя, кто постарел, добавил: — Ты прямо это... Как капитан дальнего плавания на мостике, ага...

— Мать, — сипло позвал Данила жалостливым голосом, — а мать, это Петя? Он?

Взмахнув платком, стянутым с плеч, шагнула старуха со ступеней крыльца и чуть не подвернула ногу.

— Ты чего, мать, чего воешь-то, как по мёртвому? — Петро обнял её. — «Дорогие мои старики...»

— Пожалей её, пожалей, Петя, — узко и торопливо шагая-сходя по ступеням с крыльца, сипло попросил Данила. — Плохая она, плохая совсем здоровьем. Еле-еле живая...

— А ты?

— Ну-у, я ещё нормально, я в силах.

— А болезнь-то твоя вечная...

— Какая?

— Птичья, «перепил» называется. Похмелиться-то не хочешь?

— Теперь другая болезнь, называется «дай поесть». Жрать нечего, голодуха у нас по сёлам. У кого пенсии — ещё купят хлеб, если дети не пропьют их деньги, не отнимут. А молодые — все безработные. Заработать негде, швах.

— Угощаю! — вскрывая бутылку шампанского, стреляя пробкой и пачкаясь белой пеной, весело кричал Валера-шофёр, натерпевшийся по весёлому питью за рулём. — Угощаю! Пою и кормлю! Всё оплачиваю сам!

Петька обнял плачущую мать, правой рукой ухватил бутылку:

— Валера, разбирай, разбирай багаж. Провиант в горницу, скарб в сени, так, батя? А вот это, Валера, он, это и есть мой батя. Силач, кузнец, характер! Отец, а это Валера Вихров, собственной персоной. И шофёр, и помощник, и друг. Один в трёх лицах. Что? Ну, значит, в одном лице. Верный слуга своего шефа. Лучший шофёр Москвы и окрестностей. Всех времён и народов, да! Валера, неси всё в дом. А виски остался у нас там? Ночуем в хате на пуховике. Можно и выпить от души. Заслужили. Три дня гудим, как флюгера на ветру: у-у-у...

— Там, в багажнике.

— Ты стакан тащи, свой большой, «семиглотошный». В маленький-то у него, Валера, нос не лезет, он из маленького не пьёт. Только из большого. Да чтоб с горкой. Всклень называется. Чего стоишь да головой трясешь, отец, счастью своему не веришь?

Жёлтый, как утренняя моча, виски плеснули в два стакана отец и сын.

— Валера, а ты?

— Я не бу-у.

— А мы будем. Будем, отец?

— Будем. А закусить?

— Вот, батя, пахлава, бери. Коржик сладенький с толчёным орешком. Восточная сладость.

— Ну и выпить ты нашёл, Петро, хуже самогона. Под него бы... грибки солёные.

— А есть? В погребе.

— Мать, дай фонарь, фонарь мой где-то немецкий, я в погребок нырну за грибочками, я мигом. И сметанки наберу... Стой, стой, Валера. Вот гляди, какие дела. Ты городской. Тебе не понять, а я давно изумляюсь: вот гляди, видишь, церковь шатровая, золотые купола. Каменная. Русский крестьянин в лаптях ходил, а купола позолотил. И люди жили, те крестьяне, что строили её из камня самородного, — у этих людей крыши изб камышом были крыты. Слышишь, Валера, не жестью и не ондулином — камышом. Не веришь? Я ещё застал... Мам, как так нет фонаря, а где же он?

— А она его, Петя, на печи оставила зимой. А печь протопили как следует, он и расплавился, батарейки поплыли, щёлок из них замылился.

— Мам, зачем же ты его на печь-то? Хоть на палочку или на шесток бы поставила.

Яма амбара — холодное чрево сруба с бегающими мокрицами — встретила Петра недружелюбно. Подгнивший, рубленный в лапу сруб слоился гнутыми от старости и тяжести земли рваными брёвнами, угрожал падением. Заговорившие под его ногами ступени лестницы, запах мокрого смородинного и вишенного листа из кадки вмиг окунули его в детство. Петька с закружившейся головой присел. С удовольствием дышал он и вглядывался в полутьму. Промытая

алкоголем душа с обострившимися чувствами ностальгировала. Было глухо, темно и беспокойно. Тайная весёлость трогала сердце. Лечь бы прямо вот здесь. Свернуться клубком по-собачьи, всё оставить-забыть. И шефа-охотника-коммерсанта, что, напившись пьян, отпустил в деревню погостить, и недостроенный дом из пеноблоков с неудачным фундаментом в Подмосковье, и всё-всё... Пришло на память, как сестра в детстве боялась лягушек, а он нарочно бросил лягушку в крынку, здесь, в амбаре. Да и послал сестру за сливками. Лягушка плавала, не давала сливкам согреться. Машка, спустившись в амбар, вдруг завизжала как резаная. Братья хохотали. Подтрунивали: «Машка, где сливки? Перевернула?»...

— Мать, а где же сливки к грибам? — вылезая наверх по певучим ступеням, крикнул Пётр, поднимая в ковше оранжевые солёные черныши в смородинной листве. — Или все съели?

— Какие сливки, сынок, коровы-то нет давно. Я косить не гожусь, отец — тоже. Вон они, руки-то, не разгибаются. И у отца артрит. Не руки, а крюки.

— Ставь багаж на крыльцо, малый, — сипел Данила.

— Валер, ставь тут, не сутись. На-ка, на пистолет-то, спрячь его в багажник. А то гости соберутся, перепугаем ещё, чего доброго...

Данила как выпил, так тут и сел с пустым стаканом в руке.

Сидел, двигал бровями, тяжело сопел от удовольствия.

— Прошла голова? Добавить, батя?

— Подожди, не гони коней... Пусть пожжёт. Петро, а я о тебе вчера сон сбредил. Зуб у меня будто бы выпал, коренной. С кровью. Вот она и впрямь — кровь своя родная: ты приехал.

— Ты бы раньше сбредил, старый. Хоть на годок один, — упрекнула Степанида с навернувшейся слезой.

Валера принёс опять. Разлили.

— Мать, а тебе?

— Ну её к лешему.

— Поехали... Гадость какая... Фу...

— Между первой и второй — промежуток небольшой.

— Три тысячи рябчиков бутылка, батя. А ты говоришь «гадость». «Блэк Лейбл». Во, читай...

— Что ты? — испугался Данила, даже жевать перестал. — Три тысячи? Это ж полкоровы!

— Ну, за шесть тысяч никто коровы не продаст, хотя в вашей «очумеловке» — шут его знает. Нищета тут такая, что, пожалуй, и продадут, а?

Валера поперхнулся, закусывая ветчиной, засмеялся, закашлялся. Ему услужливо застучали по спине, чтобы не подавился.

— Чёртово тырло! Дожди пойдут, гляди-ка, и на джипе не вылезешь... Вот откуда я родом, Валера. Как вспомнишь — так

вздрогнешь, со стыда стораешь: из дикарей сиволапых. Уж ладно бы Германия или Дания, ну хотя бы Рига, а то село Мукасево на речке Вобля.

— Речка хорошая, да. Щука опять пошла. А ты был там, в Германиях-то, сынок?

— «Был» — не был, а жил. Недавно опять оттуда. Вот житуха, шик. И одежда, и люди умные, словом — другое измерение.

— Петя, а ты на сколько к нам? Поживёшь?

— Дня на два, шеф отпустил. Как позвонит — надо отчаливать тем же часом. Он в охотхозяйстве, вёрст сто отсюда. Пока доедешь...

— Отпустил, значит?

— Он пьяный — добрый. Батина болезнь у него, «птичья», вот боюсь, не заразная ли. Ты что, мать, плачешь, что ли?

— Столько годочков не был — и на два дня?

Через полчаса вышли на крыльцо, заметно повеселевшие, сытые. С дымящимися сигаретами — чёрными тонкими и белыми.

— А хорошо тут у вас, батя, и что главное — тишина. И такая свежесть, даже сила откуда-то, как в детстве. Кажется, воздуху наберу — и сейчас облака раздую, честное слово.

Вдали растянуло-растацило тучи. Солнце осветило прямо и просто — отверзло лазурную высокую чистоту, отразилось в чёрном, бокастом, жуково-округлом джипе, в луже у крыльца

с утонувшей травой и куриным помётом.

— Зови гостей, мать!

Сдвинутые столы накрыли, как на свадьбу, на улице.

— Во, мать, расставляй: пиво специальное, а это дыни, режь, конфеты «Третьяковка», колбаса, сыр «Барбарин»...

Гости собирались на новость: «Приехал Петро, да богатый... Объявился».

Выпили, скромно накладывали в тарелки картошки, потянули странную колбасу на вилках, сыр с крупными ноздрями. Тарелки у всех были важно полупусты, но только до третьей рюмки. Данила пытался шутить, веселить гостей, загадывал старые, забытые и оттого без решения загадки:

— А вот угадайте-ка, кто над нами вверх ногами.

Смотрели вверх, на телесно-выпуклые, величественные, нависшие над столами сучья тополя, на сквозившее синью небо в них, не могли догадаться — всё обычно, ничего такого загадочного.

— А... что сырое не едят, а варёное выбрасывают?

И опять нависало лёгкое гостеприимное молчание.

— Лук, — подал голос кто-то.

— Тост... Тост...

— Это у нас директор Силкин, когда ещё косили в лугах, и столовка там была, у парома... Ему щи принесли, официантка принесла, а он ей: «У тебя паль-

цы-то во щак». А она: «Ничего, они не горячие...»

— А-а, побрезговал. Небось, теперь не побрезговал бы, когда развалили всё, да поздно...

— Это что же за машина, Пётр?

Пётр, весело и грустно глядевший на собравшихся, насмешливо закинул голову.

— Которая, эта? Рабочая наша. Поди, и не видал такой. На охоту ездим. Ещё три разные, в офисе.

— А ты что же делаешь в этой машине? В офисе?

И Пётр сбивчиво и с явной насмешкой над глупостью деревенских стал объяснять, что он инспектор по безопасности, а проще — личный охранник...

— Телок?! — воскликнул кто-то, и все засмеялись.

— Это ты «телок», понял, а я — личный...

— Кто же на него нападает, на твоего шефа, от кого ты его охраняешь? — близоруко щурясь от солнца и похватывая корявыми перстами лысеющую голову, всерьёз ничего не понимая, спросил Данила. Матери не понравилось, как сын перемигнулся с водителем, оба засмеялись:

— От людей, батя, от народа лихого. Может, ты не слышал, в Москве на Рублёво-Успенском уже противотанковые рвы роют.

— Что ты? Кто же вступил-то в Москву? Не чеченец?

За столом засмеялись, но уже как-то сдержанней, невесело.

— А медаль-то за что же у тебя, тоже за охрану?

— Какая медаль?

— Вот, — оглядывая с гордостью гостей, улыбнулся Данила, — ай ты забыл? Та, что ты прислал, с фотографии.

— А-а, эта? У меня их много, медалей-то, там дома, в городе.

Данила с гордостью обвёл всех глазами, Степанида сложила губки.

— Ну, сынок, расскажи, как там было, на войне?

— На войне плохо, батя. Что тут расскажешь, — насыпая в рот солёные фисташки и запивая их пивом, рассказывал Пётр. — Жрать нечего. Даже тому, кто с медалями. Дело дрянь... Плесни ещё виски. Эй, эта бутылка пустая, «покойника» под стол! На столе пустой посуде не место, примета такая. Чтобы жизнь полной.

Шофёр, спохватившись, спустил порожнюю бутылку, поставил её на землю под ножку стола.

— Бать, а где же Витька Ступа, Володька Лихой?

Отец опустил голову:

— Нет никого.

По наступившей тишине застолья стало понятно: кто спился, кто потерялся в жизни. Нет детства, и нет юности. Всё проходит, особенно в нынешнее время...

— А всё-таки кого ты охраняешь, если не секрет? Генерала? Чего отшучиваешься, или в разведке? В госбезопасности?

— Круче бери. Генерального директора ЗАО «Термокор».

— Что же это за фамилия, или должность такая? Кто же он, какой нации?

— Нашей, батя. Наверное, нашей. Не уточнял. Это как если бы ты предколхоза своего Силкина охранял, — несколько тушуясь за явную глупость отца, «нетолерантность» его, по-пробовал перевести всё в шутку Пётр. — Какая разница, какой он нации, твой Силкин, лишь бы платил хорошо, приплачивал, а? Или нет?

— Та-ак...

— Ты чего погрустнел, батя?

— От кого же мне его охранять, председателя моего?

— Так говорю: от злых людей. А больше того — от бедноты нынешней.

— От бедноты? А я кто, а мать твоя? А ты сам? Или разбогател ты? Где ж твоё богатство...

— Нет, но скоро разбогатею.

За столом приняли шутку, засмеялись, но как-то невесело, принуждённо.

— А чего ж его охранять, Зао? Или он вор, или растратчик?

Петро с шофёром опять переглянулись, засмеялись:

— А то нет?! Ты ж посмотри, как вы живёте, посмотри сам, батя. И это — жизнь? Денег нет, деревни нет, поля не засажены. Мы вон откуда, от Бастаново ехали — всё пусто, шаром покати. На полях одни берёзки, да так густо, уж — и тот не проползёт. Только ты один: кузня да кузня, ходишь как заведённый, мать и та

жалуется. После войны, поди-ка, так не было, а?

— После войны... После войны так и было. Только лучше: вера была. Каждую весну цены снижали. Да ведь и теперь — война? Война, похоже, и не кончалась. Ты же вот воюешь, герой?!

— Воюю, батя. С дураками и патриотами, — пьяно и шумно вдыхая, раздувая ноздри с удовольствием, подтвердил Пётр. — Воюю... То у хаты сижу всю ночь, как собака, пока он с тёлками занимается. То у ресторана или казино жду его, «папу». Если выиграет, то по тыщёнке накинёт, а проиграет — станет нервы трепать, курить одну за другой, орать не по делу. Я уже издалека знаю: руки в карманах, орлом глядит — выиграл. Если запнулся по дороге или на лестнице — то ховайся, добра не жди. Так, что ль, Валера?

— А нам что, нас гребут, а мы крепчаем!

— Знаешь, батя, вот ты всё намекаешь, что мне сладко. Оно так и кажется, конечно. А я так тебе скажу: и он, и все, кто с ним, — другой породы. Это раса кровососов. И я не только охранять, а сам задавил бы его, веришь, нет?.. Надоел. Это есть вампир. Сам суди. День у меня начинается в пять утра. Квартиру снимаю в Подмосковье, в Москве самой — дороже раза в три. Вот и езжу: на работу два с половиной, с работы столько же. Или живу в офисе его, неделями. Он выкупил этот офис, казённый. А знаешь, что это прежде

было? Детский сад. У детей отнял, взятку дал, евроремонт сделал. Считает за своё. Пальцем, заметь, о палец — ни-ни, не ударил. А работа знаешь его в чём? Подряды московские перекупает на строительство — и перепродаёт. И ещё в «Газпром» мотается. Всё. А нефть, газ — они его, что ли? Вот она, работа: в семь ноль-ноль получаю оружие, тут всё по-серьёзному. Три «подснежника» — рации-мальшки такие. К девяти подача машины. Часа два-три я жду его, когда он выйти соблаговолит. Звонить нельзя: разбудишь, что ты... Везём в «офис» — детский сад. Там ежедневно — широкий стол. И вот наезжают. То из одной партии, то из другой. Конкретные люди. Только успевай вино подвозить. Потом до четырёх-пяти дня мотаемся по охотничьим магазинам Москвы, по друзьям его или по медицинским центрам. А впереди ещё ночь без сна, казино, рестораны. Один закроют — он в другой, в ночной. Однажды нищая подошла, «подай», а он — «бей её»...

— И что, ты бил?!

— ...Другой раз напился он с дружкой пьяным в ресторане и давай чёрной икрой с чайной ложки стрелять. Да и попал не тому. Опять я за него впрягаюсь...

— Нанялся — продался...

— Ему ничего, а меня — в обзьянник. С бомжами сидел сутки. Вонь, чуть живой. А он пришёл: «Что, не рад меня видеть?»

Шофёр Валера, глядя во все глаза на Петра, вдруг захохотал.

— А ты не знал? Пришёл — и хоть ручки ему целуй.

— Поп он, что ли? — Данила незаметно сплюнул в ладонь колбасу сырокопчёную, сбросил под стол. — И ты что, на его деньги этот харч купил? Неужто ручку целовал?

— Ты что, батя. Да я бы в горло ему вцепился, деньги нужны. И так выпустили, говорю же — шутка, ты что?

— А мы вот что, ни вашим ни нашим, давайте Машутке письмо напишем, ото всех нас, прямо сейчас, — вдруг предложила мать. — Я знаю адрес, сейчас принесу.

За столом оживились. Начали писать, говорить вслух, предлагать: «Нет, а давайте так...» Да всё без толку: звонил и звонил мобильный телефон у Петра, не давал сосредоточиться, спорили. В наступившей в очередной раз тишине, повисшей после звонка, вдруг грозно и зло прозвучали слова Данилы:

— Так в чём же твоя работа, Петро?

Тут уже и мать не выдержала:

— Отстань, в кои веки приехал сын на побывку, достал, донял.

— Вот так, как теперь, звонки и звонки. Вот она и работа. Проблемы решаю, то в офис пошлёт, то за тёлками... Сам ходит вот так, в золотых очках... Вот так ходит. Руки за спину, как по зоне. Или так: полы пальто распустит, не идёт, а летит, как петух карманный. То за французским вином пошлёт, то за билетами на самолёт. Но вот если с

утра с бокалом уселся за виски, то всё, пошло-поехало. «Царская охота», «Медок», рестораны-казино. Но бабы все разные, понимает толк. Он забавляется, а мы с Валерой в машине — сидим-спим. Раньше выгонял на улицу, даже зимой, а потом ничего, привык... Она, тёлка-то, только вот так вот откроет дверь машины, когда всё сделает, сплунет — и всё. Как говорится, если хочешь поработать — ляг, поспи, и всё пройдёт. Верно, Валера? Врать не буду, работа — не бей лежачего. На-ка, батя, я и вам с матерью деньжат привёз. Ты что так смотришь, глаза выпучил? На-ка, мать, он не в себе от радости.

— Это кто же такие на них? — с интересом разглядывая голенькие, как лубок с весенней берёстой, бумажки, спросила мать. — Никак они повешены, гляди, горла-то как затянуты.

— Не повешены, мать. Это — американцы. Президенты их.

— Мериканцы... Только у нас ведь, Петя, эти деньги в сельмаге не возьмут, нет.

— С руками оторвут!

— Ты на кого ж работаешь, если тебе американскими плотят? Он что, тоже из них, их человек, твой Зао-Термокор? Или он наш генерал, русский?

— Наш, наш, успокойся, батя, с шалавами он всё играет, а я под дверями сижу, охраняю, такая работа. Не работа, лафа.

— Ладно, Петро, за тебя! За то, чтобы ты бросил свою работу, своего генерала и вернулся к нам. А то вот мать-то твоя задыхаться

стала, ели ноги таскает, мехи-то качать...

— купишь коровёнку. Сеню навалеешь...

— К нам! Только к нам! — вдруг рывкнул отец. — К чёрту генералов иностранных и сенаторов! Где сокровища ваши, там и сердце ваше! — сдвинув брови, он так ударил в столешницу, что посыпались рюмки и плеснуло красным компотом из кувшина.

— Куда? В твою кухню, что ли? Да и какого генерала бросить, я и на войне-то не был.

— Как не был, а медаль?

— Медаль? Фотошоп. Сейчас объясню. Программа такая есть на компьютере, фотошоп. Да не ж..., а фотошоп, из интернета. Любую фотку за бабки. Хоть с президентом, только плати. И работа, объясняю, непыльная. Не навоз вилами бросать. Дипломатик, телефон, рация, пистолетик. Ну, билетик купить прокатишься. В «Люфтганзу», в Европу, Америку или на Кипр билетик купить, и всё...

— Петро! Проклянун!

— Брось ты, батя. Век высоких технологий, наносистем, а у тебя свинья по сеням ходит, а дом-то — это не дом, халупа. Поди-ка по весне течёт — живого места нет? Нет, я этот тост пить не буду. А лучше вот: предлагаю выпить за то, чтобы эту вашу деревню похоронили скорее, смели бульдозерами, а стариков — дети в города повывезли. Пусть хоть под конец жизни поцарствуют.

В наступившем молчании соседка Нюра встала и, всхлипнув

в ладони, вышла из-за стола. За ней поднялись ещё двое.

— Валера, дай-ка там нашу, песни молодости, а то несут тут какое-то ретро, тоска!

Валера покрутил ручку, и из машины уверенно и мелодично затянули «Битлз».

— Приглашаю на танец, Надежда, — протянул руку Пётр подруге детства. — Надеюсь, ты-то не как эти, отсталость, мхом поросшая.

— На лето приезжаю. А теперь останусь. Не смотри удивлённо: кризис. В городе три завода — все встали.

— Корову заведёшь, как мне советовали? Или всё-таки козу, с ней полегче? На кол привязал — и того, отдыхай, любуйся видами.

— Не хохми, Петька, каким был, таким и остался...

— А я нет, я, Надюха, чтобы сюда жить?.. Ни за что. На три дня шеф отпустил — и... только меня тут и видели. Чего смеёшься?

— Молодёжь танцует! Вся молодёжь танцует! — Валерка выскочил, уронив табурет.

Пётр так увлёкся Надеждой, что, когда оглянулся, увидел пустой стол с недоеденной снедью, Валерку, справлявшего малую нужду тут же, под тополем, да старуху-мать, которая помогала отцу взойти по крутым ступеням в дом.

— И чтобы сегодня, сейчас же! — яростно неслось с крыльца. — Чтоб духу их тут не было, тьфу! Вояка! Я голод пережил, войну, но чтобы в холуи, в лакеи

— никогда... Сенаторы! Президенты! Генералы! В услужение... всю Россию, а как же мы?..

— Уймись, уймись, неугомонный, ведь люди кругом, позор-то.

— Ну, батя надрался... Хочешь — верь, хочешь — не верь, а я его таким вижу впервые. Староват стал, рюмки и той пить нельзя. Так ты тут одна, Надежда, а муж?

— Обьелся груш, — слабо отбиваясь от ухажёра, Надежда жалко скривила губы. — Давно уж одна. Оставайся и ты. Тост за это подняли, оставайся. Вместе козу заведём. Вместе и пасти станем. На кол привяжем, и за любовь, а?

— Так я к тебе приду на ночлег, а то видишь, батя-то выгнал меня. Молчишь?

Ветер шумно налетел, заиграл-запутался в тополе, посыпались-закружились сверху мелкие пахучие почки.

— Так что, остаёшься со мной, или что, опять шеф, к шефу? Ну, чего задумался, гадаешь, одобрит ли он твой выбор, шеф, или не одобрит? — подмигнула насмешливо, в глазах заиграли искорки.

— Шеф-то — он одобрит, ты в его вкусе, — вызывающе окинул взглядом Петро всю её с головы до ног. — Шеф — он в женщинах толк знает. А всё-таки насчёт козы... вот тут есть сомнения.

Заботливая рука матери появилась из окна, торопливо поискала створку, стала затворять, а старик всё буянил в доме.

— ...И чтоб ни ноги его, слышишь, мать! Перед всем народом! Так отца обмануть! Так подвести! — опять горячился Данила.

Упал с грохотом табурет, покатилося что-то со звоном, загремело. Кастрюля, что ли. Отец выглянул, отмахиваясь от Степаниды, едко заметил:

— А-а, вы ещё здесь, работнички, Христо-про-да...

Степанида, одолев, утянула его в комнату. «Христо-про-давцы вы...» — неслоь оттуда.

— Он с какого года, отец-то твой? — спросил Валера задумчиво.

— С тридцать шестого.

— Понятно. Военное поколение. Матросов, Маресьев, Гастелло. Родина, честь, слава... «Жила бы страна родная, и нету других забот!»

— Вот-вот. Вот он, истинный свет. Задурили голову им. Все сто лет так народ дурили: сутками, без сна, паши как трактор, и всё за вымпел или за почётную грамоту, вот у них мозги и свихнулись. А помнишь, Надька, как нам учительница декламировала: «И чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь, все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества!»

— Ничего вам не понятно. И не поймёте никогда. Островский, Корчагин. «Как закалялась сталь»... Надо было, Петя, и книжки читать тоже. А то ты всё только в трясучку, на мелочь, да в пристенок... Наиграешь, бывало,

полные карманы. Сердится отец-то, значит, есть причина.

Петя, прикуривая, прищурился:

— Вот ты училась, отличница, и что толку? Посмотри на меня и посмотри на себя. Ну что, прилечь на ночлег, или в машине ночевать нам?

— Иди ты... в машину!

Надя повернулась и бойко и гордо двинулась улицей.

— Иди, иди, да смотри не передумай... Тоже мне, цаца. Знаешь, Валера, сколько она мне крови попортила...

— Смотри, Петя, какая, а... Не идёт, а пишет.

— Не пишет, а рисует.

— А знаешь, Петя, что сказал мне её взгляд? Он сказал мне: не учите меня жить, лучше помогите материально.

Степанида, усталая, просто-волосая, с неубранными седыми волосами и с косынкой в руке, медленно сошла вниз по ступеням крыльца.

— Ну чего он там, отец-то? Не угомонился?

— Под иконой стоит на коленях и крестится. Ой, Петя, до чего страшно крестится-то. Медленно, широкие кресты кладёт, а сам как каменный будто. Я знаете что, ребятки, я вам в баньке постелю, на воздухе, от греха. Ночи уже тёплые. Я вам хорошо постелю, уютно, подушки у меня — пух в атласе. Вы вот только пистолет-то свой спрячьте подале. Спрячьте. Не обессудьте меня, старуху: уж больно зло крестится-то, истово...